



Валентин
ПИКУЛЬ

Валентин ПИКУЛЬ
(Из архива писателя)

ПАМЯТИ

ехать в Россию, дабы поднять его прах из архивной пыли, сейчас нельзя, ибо матушка болеет.

— Эй, боюсь, не вынести дальней дороги, а у меня... У меня, Наташа, рука болит все сильнее... правая! — сказал он.

Каролина Ивановна умерла, а Плетнев из Петербурга извещал Грота, что царь подыскивает учителя русского языка для своего наследника, он предложил именно Грота, но... «ждите известий из Лицея!» — заключал Петр Александрович. Царскосельский лицей вскоре предложил Якову Карловичу кафедру российской словесности, и в 1853 году семья Гротов рассталась с Гельсингфорсом.

Наталия Петровна была из рязанских дворян, и Гроты приобрели маленькое имение на любимой ею Рязанщине, здесь Яков Карлович своими руками насадил рощу деревьев, в будущем ставшую парком: он устроил школу для крестьянских детей, нанял за свой счет учителей, покупал для школы книги и учебники; он, будущий академик, никогда не гнушался давать детским уроки по правописанию, рассказывал им сказки. А рука все немела! Желая как-то оживить ее, Грот пилил с мужиками дрова, усиленно колот их топором на плашки.

— Все равно немее, — сообщал он жене.

— Надо обратиться к хорошему врачу.

— А ну их! — отмахивался Грот...

Наталия Петровна застала мужа за странным занятием: левой рукой муж исписывал бумагу простейшими знаками — 0, —, 1, =, +. Теряя правую руку, Грот уже начал готовить к труду левую, и вскоре он левой рукой писал так же скоро и красиво, как смолodu писалось ему правой... Человек живет для постоянного труда — и работа никогда не должна прекращаться. В этом он был убежден, предвещая себе в стихах:

Я перед ангелом благим
Добру и правде обещаю
Всегда служить пером моим...

Тогда еще не было железной дороги до Рязани, ее провели позже, и Грот любил вспоминать, что первые поезда были народу в диковинку. Сразу за Москвой, слышав гудок паровоза, из субботних бань выбегали нагишом мужики и бабы, крестьяне на чудо-юдо, и Грот смеялся, припомнив один случай:

— Мост через Оку не имел перил, и вот помню, что одна барыня, ничего из окна, кроме реки и неба, не видя, вдруг с ужасом заорала: «Карау-ул! Мы едем по ничему...»

ПОСЛЕ Крымской кампании Яков Карлович был избран в члены Академии наук по отделению русского языка и словесности, и тогда же он впервые заговорил о неразберихе в русской грамматике, считая, что слова должны бы писаться так, как они произносятся. Так впервые в России возник вопрос о фонетическом правописании по методу Грота, отголоски которого дошли и до наших времен (вспомните споры: как писать «заяц» или «заец»?)...

Почти десять лет жизни были отданы им чтению лекций в Лицее и в царской семье, но этот период жизни Грот не считал счастливым. Его давно угнетала нехватка державинских материалов, что тормозило работу над многотомным собранием его сочинений. Став академиком, Грот обратился ко всем россиянам с призывом помочь ему, и скоро в квартире Грота было не повернуться от изобилия державинских бумаг, возник небывалый домашний архив: Грот каждое лето объезжал те места, где бывал Державин, перед взором Якова Карловича пронеслась вся Россия — от Казани, машущей ему полами татарских халатов, до унылой Званки на берегах Волхова, где поэт наслаждался последней любовью. Но однажды Наталия Петровна застала мужа в растерянности:

— Что с тобой, Яшенька, друг ты мой?

Грот чуть не плакал, он не мог отыскать ту матерчатую штрипку, что поднял когда-то с полу в Лицее, оторванную от штанов Пушкина и отброшенную поэтом.

— Ах, Наташа! Так всегда и бывает: что хорошо спрячешь, потом днем с огнем не найти...

Об этой пустячной штрипке он помянул неспроста. Еще в 1861 году на юбилейном вечере лицейстов было решено поставить памятник поэту в Царском Селе, стали собирать деньги для его сооружения, но потом, как это и случается на святой Руси, «поговорили и забыли». Правда, Грот не забыл своих юбилейных стихов, которыми украсил печальное застолье стариков лицейстов:

Живем, мы дюжины люди,
А гения давно уж нет,
И рвется ныне вздох из груди
Неволью по тебе, поэт.

Как скромный пир наш был бы громок,
Когда б тебя в своем дому
Сегодня встретил твой потомок
И руку б ты пожал ему...

Жене своей Яков Карлович не раз говорил:

— Ты, Наташенька, известна о круге моих друзей — Державин и Хемницер, Ломоносов и Сумароков, наконец, и великая Екатерина тоже в моих приятельницах. Но чаще я вспоминаю о Пушкине... Ведь он мог бы еще жить среди нас, и часто мне думается: каков он был бы сегодня, в свои преклонные годы? Наверное, седой. Возможно, и располневший. Гулял бы с внуками по Невскому... Нет! — сказал Грот. — Далее с памяником ждать нельзя: я решил разбудить спящих ударом в колокол. Постыдно, что усердие почитателей поэта вдруг охладело...

19 октября 1871 года — по инициативе Грота — образовался особый комитет, в него вошли немало стариков лицейстов, сообща решили ставить памятник поэту не в Царском Селе, как было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в Москве (и так появился в первопрестольной опекушинский памятник, без которого мы уже не мыслим столичного пейзажа). Денег от народа, собранных по подписке, оказалось больше, чем надо, и Грот эти «лишние» деньги употребил для выдачи премий за лучшие литературные произведения. Мало того, Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу «Пушкин, его личейские наставники и товарищи». Честно скажу: сколько уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в руках не держал.

А теперь, читатель, позволю тебе немного и посмеяться.

Чистокровный немец по отцу и по матери, Яков Карлович Грот вел

ЯКОВА КАРЛОВИЧА



Я. К. ГРОТ

в Академии наук затяжную войну с «немецким засильем». Странно, не правда ли? При графе Уварове и при графе Литке, оседлавшем академического скакуна, в академии воцарилось «поклонение германскому ученому миру», — здесь я цитирую самого Грота. — Граф Уваров был ослеплен блеском западной цивилизации... он целиком подчинился влиянию неперемного секретаря (академика) Фусса и вообще немецких академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил... Граф Литке так же, как и граф Уваров, был горячим почитателем германской науки... По какому-то непонятному предубеждению он считал занятия русской и славянской филологией менее почетными, чем занятия какою бы то ни было другою отраслью языкознания... — так писал Грот.

— Каково же мне, — говорил он любимой жене, — с моими любимыми Державиным и Сумароковым противостоять этим твердолобым «немецам», для которых русское прошлое и плевать не стоит? Почему в простом народе, в неграмотных бабах и темных мужиках, я встречаю цельное и осмысленное понимание русского патриотизма, — а эти... эти... видят в русском народе только рабов, видят в деревнях только кvas да лапти!

Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов Державина — вся эпоха его жизни-бытия вдруг предстала в девяти гигантских томах, а последний том (тысяча страниц) стал заключительным аккордом, определившим величие времени, в котором поэт жил, страдал, любил, ненавидел. Впритык к этим томам Грот поставил свое иссле-

дование о Пугачевском бунте, а изданием бумаг Екатерины II сделал завершающий мазок на великолепном полотне ее царствования... От жены он ничего не скрывал.

— Что бы там ни болтали о множестве ее фаворитов, но, отбросив альковные тайны, перед нами вырастает могучая фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше иных русских понимала цели и задачи великого Российского государства...

Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим вниманием и отношения Екатерины со шведским королем Густавом. Грот повел русскому читателю и о судьбе Котошихина, которого злобная судьба возвела на эшафот в Стокгольме. 1877 год стал для Грота значительным: в древней Упсале шведы отмечали 400-летие своего прославленного университета, и Яков Карлович на этом празднике представлял в Упсале русскую науку. Съехалось немало гостей — ученых из всех стран Европы, но каково же было удивление многих, когда русский депутат произнес здравицу на добротном шведском языке, тут же переведа ее на божественную латынь, повторил сказанное на немецком, английском и французском. Шведский король Оскар II, сам историк и писатель, пригласил Грота в королевский дворец — поужинать.

— Не вы ли тот Грот, что перевел Эйленшлегера?

— Я, ваше величество.

— Тегнера не вы ли перевели на русский язык?

— Я, ваше величество.

— Высьем! — сказал король. — У меня много русских друзей, а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале...

Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много трудился, он был высок и худощав, при ходьбе усиленно взмахивал тростью, перед дамами издали скидывал цилиндр и почтительно кланялся, широ-

ким жестом одаривал пятаками швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские салоны, он любил анекдоты, но только те, в коих блистало остроумие персон века минувшего. Яков Карлович удивлялся на улице прохожих своей шотландской бородкой, делавшей его похожим на шкипера парусных времен, которые выбривали лишь подбородок...

— Кто этот чудак? — спрашивали прохожие.

— Э тот? Стыдно не знать вице-президента Академии наук...

Грот стал им за четыре года до смерти.

РУССКАЯ наука высоко ценила трудолюбие Грота: Вы — утром вышли на работу, А мы — в двенадцатом часу...

Нельзя сказать, читатель, чтобы Якова Карловича у нас совсем уж забыли; он благополучно уместился в томах советских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем от случая к случаю (чаще, когда идет речь об опекушинском памятнике Пушкину). Как это ни странно, о нем лучше помнят эстонские ученые: я, например, с удовольствием ознакомился с монографией Эйна Карку, который не скрывал больших заслуг Грота в старом сочетании двух соседствующих культур — финской и русской, русской и скандинавской. Это мне понятно. Но почему же мы, россияне, не издаем почтенных трудов Якова Карловича?

Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть с 1891 года, его часто знобило, он уже не сам просыпался, преисполненный энергии, а его будили домашние.

— Обычная инфлюэнция, — говорил престарелый доктор Здекауэр. — Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек...

Наталия Петровна все-таки уговорила мужа выехать для лечения за границу, и это не стоило ей большого труда, ибо Яков Карлович боялся своего предстоящего юбилея:

— Осенью стукнет шестьдесят лет моих трудов, а знаешь, Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я должен кормить и поить на банкете... Стоит ли мне сидеть, как дурак, и слушать о себе всякую похвальную ерунду? Лучше скрыться!

Грот вступал в последний год своей жизни.

Весною 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в рязанскую деревню, но умерло сразу несколько академиков, и он, человек долга, считал для себя нужным остаться в столице, чтобы позаботиться о пенсиях для осиротевших семей. Грот выезжал лишь в Царское Село ради прогулок в парке и однажды, посетив старый Лицей, высказал перед женой свое отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя зависть от критики, и Наталия Петровна, словно предчувствуя скорый его конец, тут же записала мужские слова, которые я привожу дословно.

— Скажи, — говорил ей Грот, — отчего у нас на Руси никакой серьезный труд не встречают с благоволением и он не вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в других странах? Отчего у нас в России намеренно умалчивают о достоинствах труда, всегда стараюсь выискать в них мелкие недостатки, не различные со всяким человеческим трудом, и почему эти мелкие досадные промахи критики выставляют наружу с каким-то особым, торжествующим злорадством? Кто же из нас может похвалиться абсолютным совершенством? Но, указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явных достоинств...

Во время этой же прогулки он сказал жене:

— Напишу еще листа три, доведу до конца корректуры, и пора подумать об отдыхе... Наташа, не снять ли нам дачу?

24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало знобить. Наталия Петровна поставила ему градусник — он показал сорок градусов. Пришла замужняя дочь, и Грот сказал ей:

— Мама-то как волнуется! Но все пройдет. Как всегда...

Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы оттянуть жар. Грот, как писала она, «лежал спокойно, держа мою руку в своей, и нежно глядел на меня... На вопрос мой, не болит ли у него что, он отвечал, что ему лучше. Около восьми часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко сжал мою руку — как бы от внезапной боли.

Спасибо тебе за все... спасибо... спаси...

После чего он тихо опустился на подушку и продолжал глядеть на меня своими кроткими глазами, пока не закрыл их навеки!»

Это случилось 24 мая 1893 года — труд жизни был завершен.

«Да будет же память его незабвенна!» — этими словами жена заканчивала свой рассказ, а мне стало печально: почему ошибки человека у нас высекаются в камне, а его добрые дела пишутся прутиком на зыбком песке?

Публикация А. ПИКУЛЬ